

# Александр ДЮМА



## ТРИ МУШКЕТЕРА



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44  
Д 96

Alexandre Dumas  
**LES TROIS MOUSQUETAIRES**

Перевод с французского  
Деборы Лившиц, Веры Вальдман, Ксении Ксаниной  
Серийное оформление Евгения Савченко

© Д. Г. Лившиц (наследник), перевод, 2023  
© В. С. Вальдман (наследник), перевод, 2023  
© М. Л. Лозинский (наследники), перевод  
стихотворений, 2023  
© Л. Н. Ефимов, перевод, 2018  
© Издание на русском языке, оформление.  
ООО «Издательская Группа  
„Азбука-Аттикус“», 2023  
Издательство Азбука®

**ISBN 978-5-389-23550-2**

ПИСЬМО А. ДЮМА-СЫНА  
А. ДЮМА-ОТЦУ

Дорогой отец,

помнят ли в том мире, где ты теперь обретаешься, о наших земных делах, или же эта вторая, вечная жизнь существует лишь в нашем воображении, порожденная средь наших упреков бытию тем ужасом, который внушает нам мысль, что нас больше не будет? Неужели смерть полностью уничтожает всех, кого касается, и только оставшиеся на земле сохраняют привилегию помнить? Или же у тех, кто любил друг друга, связующие их души узы не рвутся никогда, даже после кончины одного из двоих?

Мы обречены вечно изводить себя вопросами перед могилой существ, что остались нам дороги, а религии и философии еще веками и тысячелетиями будут преподносить роду людскому свои решения, потому что мы сами не способны найти ответ. Быть может, прав твой Якуб, когда удовлетворяется тем, чтобы

.....стихиям тело возвратить,  
В то общее материи скопленье,  
Где каждый, испустивший дух,  
Отдать обязан все, полученное от природы.  
Но коль земля, вода, огонь и воздух  
Его создать смогли по воле случая иль Бога,  
То ветры, на лету мой прах развеяя,  
Сумеют ли неукоснительно вернуть  
Частицу каждую к ее истоку?

*A. Дюма. «Карл VII у своих вассалов»*

Не ты ли сам вещал устами сотворенного тобой сарацина и не подводила ли тебя к этому материалистическому заключению твоя собственная философия? Мы никогда не говорили

с тобой об этом в то время, когда жили друг подле друга, и я полагаю, что метафизические домыслы тебя никогда особенно не волновали. Твоим могучим способностям вполне хватало реальной жизни и Природы, одной из сил которой ты сам являлся, по выражению Мишле. Твой ум, постоянно служивший изобретательному и плодовитому воображению, был увлечен делами и поступками скорее наших предков, нежели наших современников, а поэтому совершенно не заботился о потустороннем. В силу того, что тебе довелось жить с людьми прошедших веков, ты продлил свою жизнь, если можно так выразиться, в обратную сторону и придерживался этой позитивной вечности, оставляя многомудрые, но совершенно напрасные препирательства о начале и конце всего сущего ученым, философам и людям религиозным. Однажды в стихах, которые служат предисловием к пьесе «Антони», ты высказал сомнение по поводу души, но это была не столько заслуга твоего ума, сколько жертва, принесенная твоей рифме и скептицизму, который в те поры был чисто литературным, а сегодня тщится стать научным.

Вечность души сомнительна, в отличие от долгого века, отпущенного человечеству, так что приходится как-то его коротать. Отсюда и разглагольствования на сей счет. Но индивидуальная жизнь так мимолетна, а ожидающее нас по ее окончании так долго, что человеку совершенно естественно хотелось бы знать, чем будет заполнено столь продолжительное время. И его инстинкт, всегда желая, чтобы приближающийся час оказался счастливее того, что уже прожит, пред лицом Смерти, которая отнимает все наши маленькие радости и надежды, неизбежно должен представлять себе такое состояние, когда он наконец насладится вечным и полным блаженством. Таким образом, он постоянно приходит к вере без гарантий и остается глухим ко всем философским предположениям, которые могли бы отдалить его от нее, не давая взамен ничего более надежного.

Твоя страстная любовь к труду неизменно удерживала тебя от этих иссушающих и бесплодных споров. Когда эта Бесконечность, наверняка терзавшая Мюссе, осаждала и твою мысль, ты тотчас полагался на великую Гармонию, которая

руководит движениями Вселенной и непрестанно поражает наше воображение. Кто создал эту Вселенную? Откуда она движется? И куда? Тебя это не заботило. К чему вопрошать то, что никогда не отвечает? Вот в чем уверенность: Вселенная существует и мы существуем; она содержит нас в себе и отражается в нас; ничто не может отделить нас от нее; наше дело и наше предназначение едины. Сила, каким бы именем ее ни нарекли, установившая эти законы Вселенной, где нет ошибки ни в формулировке, ни в исполнении, когда дело дошло до человека, ошиблась не более, чем во всем остальном, так что если она создала Смерть, значит та была необходима для ее замысла и концепции мироустройства. Невозможно, чтобы эта присущая всему Смерть, единственный надежно установленный факт жизни, не вела бы к чему-нибудь лучшему во всеобщей эволюции и не служила ей. Удовлетворимся же тем, чтобы пользоваться этой жизнью, стараясь сделать ее настолько приятной и полезной, насколько это возможно для тех, вместе с кем мы ее выдерживаем, и пускай Смерть делает с нами то, что ей положено.

К чему все философские размышления по поводу «Трех мушкетеров», герои которых еще меньше, чем ты и я, были одержимы подобными мыслями и придерживались в этих материальных формулы, которая упрощала все: «следуй в своей вере за королем». Но невозможно воскресить в памяти тех, кого мы любили, не потревожив вопросов, которые гнездятся в самом слове «Смерть», и они вдруг начинают вихрем кружить над нами, словно рой ночных птиц, испуганно вспорхнувших с развалин. И чтобы возникли эти проблемы, умершему вовсе не обязательно быть, подобно тебе, известным человеком, вполне достаточно, чтобы он оказался просто добрым малым, ведь никого не было добрее тебя. Тогда зачем же я, не зная, где ты теперь, адресую тебе это письмо? Потому что, когда мы теряем тех, кого любим, они уже не там, где были, но повсюду вокруг нас. Это воспоминание и дань уважения я обращаю к тому, что навсегда осталось во мне от отца, и они обязательно дойдут до него туда, где он сейчас находится, раз уж, вдоволь пожив материальной жизнью, он приобщился отныне к жизни

вечной, хоть и в другом качестве. Несомненно одно: за двадцать три года нашей разлуки не было ни дня, чтобы я не подумал о своем большом друге; впрочем, если бы я вдруг утратил память о нем (хоть это и невозможно), ее вернули бы мне столько голосов! И сегодня я хочу воспользоваться случаем, который представился мне вместе с великолепным изданием одного из его шедевров, чтобы сдержать некое обязательство, которое я принял на себя по отношению к этой памяти в торжественный час.

Это случилось в декабре 1870 года у меня дома в Пюи близ Дьеппа. Мой отец был там с конца августа, обессиленный работой, как и его великий предшественник, Вальтер Скотт, который вызывал у него такое восхищение; именно этот шотландец указал отцу путь, последовав которым он мог присоединиться к нему. Он проводил свои дни, молча глядя на океан, который из-за бледных отсветов зимнего солнца сливался с серым туманным небом и чье размеренное шумное дыхание заглушало звуки людского прилива, накатывавшего на нас с востока. Какие мысли витали меж ним и этим тусклым горизонтом? Он улыбался всем, кто составлял ему компанию, а когда я спрашивал его, как он себя чувствует, отвечал: «Очень хорошо». Предчувствовал ли он близкий конец, не говоря об этом, чтобы не расстраивать нас? Или же просто испытывал потребность в отдыхе, равном проделанному труду; и было ли достаточно этих приятных ощущений, которые отдых доставлял его могучему, но теперь ослабленному организму? Он не страдал; у него уже не было иных забот; он чувствовал себя любимым и другого не желал. И после долгого дня сева, сидя у камелька, мало-помалу уступал сну, позволяя ему завладеть собой.

Однажды утром я, как обычно, настойчиво побуждал его встать. Только это доставляло ему мучения, но было необходимо, чтобы победить слабость. И вот однажды, 4 декабря, он пристально посмотрел на меня своими большими и такими кроткими глазами и тоном ребенка, умоляющего мать, сказал: «Очень тебя прошу, не принуждай меня вставать, мне и здесь хорошо». Я, больше не настаивая, присел на его кровать. Вдруг он сделался задумчив, и на его лице появилось выражение необычайной сосредоточенности и печали. Я увидел, как в его

глазах, таких ласковых всего мгновение назад, блеснули слезы. Я спросил, что его так опечалило. Он взял меня за руку, посмотрел мне в лицо и сказал твердым голосом:

— Я скажу тебе, если ты пообещаешь ответить на мой вопрос, но не с сыновьей пристрастностью или дружеской снисходительностью, а с откровенностью честного товарища по оружию и авторитетностью хорошего судьи.

— Обещаю.

— Поклянись.

— Клянусь.

— Ну...

Он поколебался еще мгновение, потом наконец решился и спросил:

— Ну вот! Как ты считаешь, от меня что-нибудь останется?

И при этом неотрывно глядел мне прямо в глаза.

— Если это единственное, что тебя беспокоит, — сказал я весело и точно так же поглядел на него в ответ, — то можешь быть спокоен: от тебя много чего останется.

— Правда?

— Правда.

— Честное слово?

— Честное слово.

А поскольку я улыбался, скрывая от него волнение, он мне поверил. Рукой, в которой он все еще держал мою, отец привлек меня к себе, и мы долго не разнимали объятий. Он ничего больше не сказал, словно здесь его уже ничто более не интересовало. Только время от времени смотрел на меня с благодарностью и крепче сжимал мою руку. А потом все чаще стал впадать в забытье. На следующий день, 5 декабря, у него поднялась температура, и в десять часов вечера он угас — спокойно, без страданий, не приходя в сознание.

Двадцать три года прошло с того дня, когда ты спросил мое мнение, и с тех пор каждый день подтверждал слова, которые я с полной уверенностью сказал тебе в тот предсмертный час. Это потому, что мир мысли, куда включен и мир вымысла, руководим законами столь же абсолютными и непреложными, как и законы Вселенной, равновесием и гармонией которых

я только что восхищался. Человек всецело отдается лишь тому, что его увлекает, чарует, будоражит, вдохновляет, воодушевляет, возвышает; лишь тому, что напоминает ему о чувстве собственной ценности и достоинства, всего того высшего, что он чувствует в себе и что гений писателя должен пробудить и приумножить. Рассказ о гнусностях и низостях не доставит ему сколько-нибудь длительного удовольствия. Он сможет, особенно в ранней юности, еще на школьной скамье, испытывая интерес к крайностям, ощутить нездоровое и странное влечение к низменным психологическим типам, но довольно скоро пресытится ими и обязательно вернется к здравому и живительному, потому что подобные описания будут внушать ему лишь отвращение. Впрочем, в том зеркале, которое ставят перед ним поэты, драматурги, романисты и прочие повествователи, он не захочет увидеть себя таким, каким он является в реальности. По сути, неплохо зная собственную натуру, он станет искать там *другого себя* — такого, каким сам себя представляет и каким не теряет надежды стать. Он прекрасно знает, что доброе и прекрасное, хоть они и более редки, являются также и более настоящим, нежели злое и безобразное, и что порок никогда не имеет монополии на истину. Повсюду, куда влекут его сердце и душа — а помимо религии и любви, где они больше всего задействованы, как не в чтении? — ему нужны надежда, утешение, опора, идеал.

Взгляните на глаза этого мужчины или той женщины, устремленные на страницы, которые их пальцы лихорадочно перелистывают. Как они поглощены речами того, кто неслышно говорит с ними! А все потому, что за этим стоит передача мысли, внушение, замена одной воли другой! Неужели же вы полагаете, что в этой поглощенности, забвении себя и всего, что не касается героя или героини приключения, кроется только любопытство? Это вера, которая не всегда знает, что вовлечена в эту игру, но беспрестанно начеку и тоже требует свою долю в нашем волнении; ее чаяния и требования ни на минуту не смолкают, подобно биению нашего сердца, даже когда мы сами их не замечаем. И горе тем из нас, кто пренебрежет этим, поскольку все мы наделены душой.

Ну что ж, мой добрый и дорогой отец, вот почему я смог сказать тебе, что из твоих трудов останется многое, и вот почему улетевшее с тех пор время подтвердило мои слова. И вот

почему с твоими героями — весьма здравыми, веселыми, оструумными, верными, великодушными, бесстрашными, посвятившими себя самым благородным делам, самым возвышенным чувствам, ради которых они готовы пожертвовать даже жизнью — ты уже более полувека все больше и больше увлекаешь толпы. И вот почему, вопреки всем школам, всем эстетическим теориям, всем спорам, искренним или нет, несмотря на все пристрастия и поношения, в которых погрязла современная литература, ты был, есть и останешься самым увлекательным писателем, самым популярным (в хорошем смысле этого слова) романистом не только во Франции, но и во всем мире. Ты сейчас составляешь часть того, что успокаивает и утешает человечество в его бедах и несчастьях. Один выдающийся хирург сказал мне недавно: «Все пациенты нашей больницы выздоравливают или умирают с книгой вашего отца под подушкой; когда мы хотим, чтобы они забыли ужасы предстоящей операции, медлительность выздоровления, предчувствие близкого конца, мы предписываем им чтение его романов или путевых заметок — и они забывают». Тобой не только восхищаются, тебя любят, что гораздо лучше, а в некоторых обстоятельствах тебя благословляют те, кто страдал и кому ты помог вытерпеть муки. Благодаря тому, что ты сумел заинтересовать, увлечь, воодушевить, заставить смеяться или плакать этих больших детей, которых именуют людьми, они в конце концов стали относиться к тебе как к близкому человеку и зовут тебя папашей Дюма. Так и вижу тебя в компании с добряком Лафонтеном. Ты улыбчивый прадед, который рассказывает на вечерних посиделках прекрасные истории былых времен.

С того дня, когда я пообещал тебе эту известность, во Франции было опубликовано и продано два миллиона восемьсот сорок тысяч томов твоих произведений, восемьдесят миллионов иллюстрированных номеров журналов, и еще шестьсот твоих произведений были воспроизведены парижскими и провинциальными газетами; это не считая стран, которые не заключили с нами договора и грабят тебя, распространяя твои книги миллионными тиражами на своих национальных языках. Договоры же, которые я заключил с твоими издательями, предоставляют мне право выпустить в свет большое роскошное издание твоих избранных произведений. В нем предполагается

двадцать пять больших томов; но я еще этого не сделал, потому что мне хочется позволить самим читателям сделать отбор книг для этого собрания сочинений. Я не пытался навязывать им никаких предпочтений. И вот сегодня твои издатели сами по себе, без какого-либо вмешательства с моей стороны, загорелись отличной идеей почтить все возрастающую славу «Мушкетеров» изданием крупного формата с иллюстрациями прекрасного художника Мориса Лелуара, чьи работы украсили «Манон», «Сентиментальное путешествие» и «Исповедь» Жан-Жака Руссо. А за этим последует «Шевалье де Мэзон-Руж» с иллюстрациями Леблана, известного своими вандейскими сюжетами. Объявляя мне, что его двести пятидесятый рисунок закончен, Морис Лелуар написал: «Вот уже два года, как я живу в обществе д'Артаньяна, Атоса, Портоса, Арамиса и остальных персонажей этой великой эпопеи. Вы не поверите, как трудно мне с ними расстаться. Поскорей бы мы снова встретились, когда я возьмусь за „Двадцать лет спустя“!»

Это письмо напомнило мне тот день, когда я заглянул к тебе во время окончания твоей работы над «Виконтом де Бразжелоном». Я обнаружил тебя печально сидящим в глубоком кресле, где ты отдыхал. Но твои глаза были красны. «Что случилось? Ты плакал?» Я все еще слышу твой ответ: «Какое горе! Портос погиб. Я только что его убил. И не смог удержаться от слез. Бедный Портос!»

Лишь так, веря в своих героев и сживаясь с ними, можно создать шедевр.

А если перенестись чуть дальше, в то время, когда ты только начинал эту прекрасную книгу, то каким задором, какой радостью, каким здоровьем была наполнена эта работа! У меня перед глазами та каморка окнами во двор, которую ты снял под кабинет во флигеле своего дома. Там помещались только большой стол светлого дерева, диван, два стула, книги на каминной полке да железная кровать, где тебе случалось приступить на несколько часов, когда вечерняя работа перетекала в ночную. Именно там ты укрывался, чтобы тебя не беспокоили все те докучливые незваные гости, все те паразиты, что беспрестанно осаждали твою квартиру, обычно открытую для всех. В одних панталонах и рубашке с расстегнутым воротом и закатанными по локоть рукавами ты садился за работу в семь

часов утра и прекращал ее лишь в семь вечера, когда я приходил поужинать с тобой. Иногда я обнаруживал твой обед нетронутым на маленьком столике, который слуга ставил рядом с твоим *верстаком*. Ты напрочь забывал про него и, ужиная, причем ужина хорошо, блюдами, которые порой готовил сам, для передышки, рассказывал нам, что твои герои делали днем, и радовался при мысли о том, что они будут делать завтра. И это длилось месяцами. Какая прекрасная работа, и всегда такая веселая! «Что такое искусство, — говоривал Коро, беспрестанно насвистывая за работой, — что такое искусство, если оно не веселит?» Ты придерживался того же мнения, и чем больше ты давал жизни своим творениям, тем больше ее становилось в тебе самом; она была похожа на великие реки, которые пытаются таинственными истоками и обновляются тем больше, чем шире разливаются. Ax! Какое прекрасное время! Мы были с тобой ровесниками: тебе сорок два года, мне двадцать. Веселые беседы! Ласковые признания! Миражи сердца и памяти! Кажется, это было вчера.

А теперь ты уже почти четверть века спишь под раскидистыми деревьями кладбища Виллер-Котре, между твоей матерью, которая послужила прообразом всех созданных тобою порядочных женщин, и твоим отцом, ставшим примером для всех храбрых, прямодушных и добрых героев, которым ты дал жизнь. А что касается меня, которого ты всегда считал ребенком, то у меня сейчас куда больше седины, чем у тебя в ту пору, да и сам я уже старше, чем ты, когда нас покинул. Земля крутится быстро. До скорого.

*Александр Дюма-сын*

## ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА,

где устанавливается, что в героях повести, которую мы будем иметь честь рассказать нашим читателям, нет ничего мифологического, хотя имена их и оканчиваются на «ос» и «ис»

Примерно год тому назад, занимаясь в Королевской библиотеке разысканиями для моей «Истории Людовика XIV», я случайно напал на «Воспоминания г-на д'Артаньяна», напечатанные — как большинство сочинений того времени, когда авторы, стремившиеся говорить правду, не хотели отправиться затем на более или менее длительный срок в Бастилию, — в Амстердаме, у Пьера Ружа. Заглавие соблазнило меня; я унес эти мемуары домой, разумеется с позволения хранителя библиотеки, и жадно на них набросился.

Я не собираюсь подробно разбирать здесь это любопытное сочинение, а только посоветую ознакомиться с ним тем моим читателям, которые умеют ценить картины прошлого. Они найдут в этих мемуарах портреты, набросанные рукой мастера, и, хотя эти беглые зарисовки в большинстве случаев сделаны на дверях казармы и на стенах кабака, читатели тем не менее узнают в них изображения Людовика XIII, Анны Австрийской, Ришелье, Мазарини и многих придворных того времени, изображения столь же верные, как в истории г-на Анкетиля.

Но, как известно, прихотливый ум писателя иной раз волнует то, чего не замечают широкие круги читателей. Восхищаясь, как, без сомнения, будут восхищаться и другие, уже отмеченными здесь достоинствами мемуаров, мы были, однако, больше всего поражены одним обстоятельством, на которое никто до нас, наверное, не обратил ни малейшего внимания.

Д'Артаньян рассказывает, что, когда он впервые явился к капитану королевских мушкетеров г-ну де Тревилю, он встретил в его приемной трех молодых людей, служивших в том прославленном полку, куда сам он добивался чести быть зачисленным, и что их звали Атос, Портос и Арамис.

Признаемся, чуждые нашему слуху имена поразили нас, и нам сразу пришло на ум, что это всего лишь псевдонимы, под которыми д'Артаньян скрыл имена, быть может, знаменитые, если только носители этих прозвищ не выбрали их сами в тот день, когда из прихоти, с досады или же по бедности они надели простой мушкетерский плащ.

С тех пор мы не знали покоя, стараясь отыскать в сочинениях того времени хоть какой-нибудь след этих необыкновенных имен, возбудивших в нас живейшее любопытство.

Один только перечень книг, прочитанных нами с этой целью, составил бы целую главу, что, пожалуй, было бы очень поучительно, но вряд ли занимательно для наших читателей. Поэтому мы только скажем им, что в ту минуту, когда, упав духом от столь длительных и бесплодных усилий, мы уже решили бросить наши изыскания, мы нашли наконец, руководствуясь советами нашего знаменитого и ученого друга Полена Париса, рукопись *in folio*, помеченную № 4772 или 4773, не помним точно, и озаглавленную:

«Воспоминания графа де Ла Фера о некоторых событиях, произошедших во Франции к концу царствования короля Людовика XIII и в начале царствования короля Людовика XIV».

Можно представить себе, как велика была наша радость, когда, перелистывая эту рукопись, нашу последнюю надежду, мы обнаружили на двадцатой странице имя Атоса, на двадцать седьмой — имя Портоса, а на тридцать первой — имя Арамиса.

Найдка совершенно неизвестной рукописи в такую эпоху, когда историческая наука достигла столь высокой степени развития, показалась нам чудом. Мы поспешили испросить разрешения напечатать ее, чтобы явиться когда-нибудь с чужим багажом в Академию Надписей и Изящной Словесности, если нам не удастся — что весьма вероятно — быть принятыми во Французскую академию со своим собственным, который настолько обширен, что может застрять в дверях.

Такое разрешение, считаем своим долгом сказать это, было нам любезно дано, что мы и отмечаем здесь, дабы гласно уличить во лжи недоброжелателей, утверждающих, будто правительство, при котором мы живем, не очень-то расположено к литераторам.

Мы предлагаем сейчас вниманию наших читателей первую часть этой драгоценной рукописи, восстановив подобающее ей заглавие, и обязуемся, если эта первая часть будет иметь тот успех, которого она заслуживает и в котором мы не сомневаемся, немедленно опубликовать и вторую.

А пока что, так как восприемник является вторым отцом, мы приглашаем читателя видеть в нас, а не в графе де Ла Фере источник своего удовольствия или скуки.

Итак, переходим к нашему повествованию.

# I

## Три дара г-на Д'Артаньяна-отца

В первый понедельник апреля 1625 года все население городка Менга, где некогда родился автор «Романа о розе», было объято таким волнением, словно гугеноты собирались превратить его во вторую Ла-Рошель. Некоторые из горожан при виде женщин, бегущих в сторону Главной улицы, и слыша крики детей, доносившиеся с порогов домов, торопливо надевали доспехи, вооружались кто мушкетом, кто бердышом, чтобы придать себе более мужественный вид, и устремлялись к гостинице «Вольный мельник», перед которой собиралась густая и шумная толпа любопытных, увеличивавшаяся с каждой минутой.

В те времена такие волнения были явлением обычным, и редкий день тот или иной город не мог занести в свои летописи подобное событие. Знатные господа сражались друг с другом; король воевал с кардиналом; испанцы вели войну с королем. Но кроме этой борьбы — то глухой, то явной, то тайной, то открытой, — были еще и воры, и нищие, и гугеноты, волки и слуги, воевавшие со всеми. Горожане вооружались против воров, против волков, против слуг, нередко — против владельцев вельмож и гугенотов, время от времени — против короля, но против кардинала или испанцев — никогда. Именно в силу этой закоренелой привычки в вышеупомянутый первый понедельник апреля 1625 года горожане, услышав шум и не узрев ни желто-красных значков, ни ливрея слуг герцога Ришелье, устремились к гостинице «Вольный мельник».

И только там для всех стала ясна причина суматохи.

Молодой человек... Постараемся набросать его портрет: представьте себе Дон-Кихота в восемнадцать лет, Дон-Кихота

без доспехов, без лат и набедренников, в шерстяном камзоле, синий цвет которого приобрел оттенок, средний между цветом винного осадка и небесным. Продолговатое смуглое лицо; выдающиеся скулы — признак хитрости; челюстные мышцы чрезмерно развитые — неотъемлемый признак, по которому можно сразу определить гасконца, даже если на нем нет берета, — а молодой человек был в берете, украшенном подобием пера; взгляд открытый и умный; нос крючковатый, но тонко очерченный; рост слишком высокий для юноши и недостаточный для зрелого мужчины. Неопытный человек мог бы принять его за пустившегося в путь фермерского сына, если бы не длинная шпага на кожаной портупее, бившаяся о ноги своего владельца, когда он шел пешком, и ерошившая гриву его коня, когда он ехал верхом.

Ибо у нашего молодого человека был конь, и даже столь замечательный, что он и впрямь был всеми замечен. Это был беарнский мерин лет двенадцати, а то и четырнадцати от рода, желтовато-рыжей масти, с облезлым хвостом и опухшими бабками. Конь этот, хоть и трусил, опустив морду ниже колен, что освобождало всадника от необходимости натягивать мундштук, все же способен был покрыть за день расстояние в восемь лье. Эти качества коня были, к несчастью, настолько заслонены его нескладным видом и странной окраской, что в те годы, когда все знали толк в лошадях, появление вышеупомянутого беарнского мерина в Менге, куда он вступил с четверть часа назад через ворота Божанси, произвело столь неблагоприятное впечатление, что набросило тень и на самого всадника.

Сознание этого тем остree задевало молодого д'Артаньяна (так звали этого нового Дон-Кихота, восседавшего на новом Росинанте), что он не пытался скрыть от себя, насколько он — каким бы хорошим наездником он ни был — должен выглядеть смешным на подобном коне. Недаром он оказался не в силах подавить тяжелый вздох, принимая этот дар от д'Артаньяна-отца. Он знал, что цена такому коню самое большее двадцать ливров<sup>1</sup>. Зато нельзя отрицать, что бесценны были слова, сопутствовавшие этому дару.

---

<sup>1</sup> *Ливр* — во времена, когда происходили события романа, ливр равнялся  $\frac{1}{10}$  пистоля (или луидора).

«Сын мой! — произнес гасконский дворянин с тем чистейшим беарнским акцентом, от которого Генрих Четвертый не мог отвыкнуть до конца своих дней. — Сын мой, конь этот увидел свет в доме вашего отца лет тринадцать назад и все эти годы служил нам верой и правдой, что должно расположить вас к нему. Не продавайте его ни при каких обстоятельствах, дайте ему в почете и покое умереть от старости. И если вам придется пуститься на нем в поход, щадите его, как щадили бы старого слугу. При дворе, — продолжал д'Артаньян-отец, — в том случае, если вы будете там приняты, на что, впрочем, вам дает право древность вашего рода, поддерживайте ради себя самого и ваших близких честь вашего дворянского имени, которое в течение более пяти столетий с достоинством носили ваши предки. Под словом „близкие“ я подразумеваю ваших родных и друзей. Не покоряйтесь никому, за исключением короля и кардинала. Только мужеством — слышите ли вы, единственным мужеством! — дворянин в наши дни может пробить себе путь. Кто дрогнет хоть на мгновение, возможно, упустит случай, который именно в это мгновение ему предоставляла фортуна. Вы молоды и обязаны быть храбрым по двум причинам: во-первых, вы гасконец и, кроме того, вы мой сын. Не опасайтесь случайностей и ищите приключений. Я дал вам возможность научиться владеть шпагой. У вас железные икры и стальная хватка. Вступайте в бой по любому поводу, деритесь на дуэли, тем более что дуэли воспрещены, и, следовательно, нужно быть мужественным вдвойне, чтобы драться. Я могу, сын мой, дать вам с собою всего пятнадцать экю<sup>1</sup>, коня и те советы, которые вы только что выслушали. Ваша макушка добавит к этому рецепт некоего бальзама, полученный ею от цыганки; этот бальзам обладает чудодейственной силой и излечивает любые раны, кроме сердечных. Воспользуйтесь всем этим и живите счастливо и долго... Мне остается прибавить еще только одно, а именно: указать вам пример — не себя, ибо я никогда не бывал при дворе и участвовал добровольцем только в войнах за веру. Я имею в виду господина де Тревиля, который был некогда моим соседом. В детстве он имел честь играть с нашим королем Людовиком Тринадцатым —

<sup>1</sup> Экю — монета в 3 ливра.

да хранит его Господь! Случалось, что игры их переходили в драку, и в этих драках перевес оказывался не всегда на стороне короля. Тумаки, полученные им, внушили королю большое уважение и дружеские чувства к господину де Тревилю. Позднее, во время первой своей поездки в Париж, господин де Тревиль дрался с другими лицами пять раз, после смерти покойного короля и до совершеннолетия молодого, не считая войн и походов, — семь раз, а со дня этого совершеннолетия и до наших дней — раз сто! И недаром, невзирая на эдикты, приказы и постановления, он сейчас капитан мушкетеров, то есть цезарского легиона, который высоко ценит король и которого побаивается кардинал. А он мало чего боится, как всем известно. Кроме того, господин де Тревиль получает десять тысяч экю в год. И следовательно, он весьма большой вельможа. Начал он так же, как вы. Явитесь к нему с этим письмом, следуйте его примеру и действуйте так же, как он».

После этих слов г-н д'Артаньян-отец вручил сыну свою собственную шпагу, нежно облобызal его в обе щеки и благословил.

При выходе из комнаты отца юноша увидел свою мать, ожидавшую его с рецептом пресловутого бальзама, применять который, судя по приведенным выше отцовским советам, ему предстояло часто. Прощание здесь длилось дольше и было нежнее, чем с отцом, не потому, что отец не любил своего сына, который был единственным его детищем, но потому, что г-н д'Артаньян был мужчина и счел бы недостойным мужчины дать волю своему чувству, тогда как г-жа д'Артаньян была женщина и мать. Она горько плакала, и нужно признать, к чести г-на д'Артаньяна-младшего, что, как ни старался он схраниТЬ выдержку, достойную будущего мушкетера, чувства взяли верх и он пролил много слез, которые ему удалось — и то с большим трудом — скрыть лишь наполовину.

В тот же день юноша пустился в путь со всеми тремя отцовскими дарами, состоявшими, как мы уже говорили, из пятнадцати экю, коня и письма г-ну де Тревилю. Советы, понятно, не в счет.

Снабженный таким напутствием, д'Артаньян как телесно, так и духовно точь-в-точь походил на героя Сервантеса, с которым мы его столь удачно сравнили, когда долг рассказчика заставил нас набросать его портрет. Дон-Кихоту ветряные мель-

**Дюма А.**

- Д 21 Три мушкетера : роман / Александр Дюма ; пер. с фр.  
Д. Лившиц, В. Вальдман, К. Ксаниной. — СПб. : Азбука,  
Азбука-Аттикус, 2023. — 704 с. — (Мировая классика).  
ISBN 978-5-389-23550-2

«Три мушкетера» — величайший авантюрно-приключенческий роман, самая знаменитая книга блистательного французского романиста Александра Дюма. Несчетное число раз экранизированная история дерзких похождений гасконца д'Артаньяна, несмотря на почти двухсотлетний возраст, живет, вопреки законам времени и забвения, с прежней неувядаемой силой.

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

Литературно-художественное издание

АЛЕКСАНДР ДЮМА  
ТРИ МУШКЕТЕРА

Ответственный редактор Кирилл Красник  
Художественный редактор Александр Балабанов

Технический редактор Мария Антилова  
Компьютерная верстка Владимира Сергеева  
Корректор Лариса Ершова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 07.07.2023. Формат издания 84 × 108 1/32.  
Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Усл. печ. л. 36,96.  
Заказ № .

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» –  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,  
пер. Партийный, д. 1, к. 25  
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге  
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

Отпечатано в Акционерном обществе  
«Можайский полиграфический комбинат»  
143200, Россия, г. Можайск, ул. Мира, 93.  
[www.oaompk.ru](http://www.oaompk.ru), тел.: (49638) 20-685



Y-AMC-32502-01-R